

течение 33-летнего срока по беспроцентной ставке<sup>1</sup>. В течение года после прибытия казакам полагалось также провиантское довольствие<sup>2</sup>. На переселение одной казачьей семьи из Оренбургского войска, включая ссуду в 600 р., расходовалось 1383 руб., Донского — 1461 руб.<sup>3</sup>. В 1895 году было переселено 2061 чел.<sup>4</sup>. Переселение казаков из европейской части России осуществлялось морским путем, а забайкальцев — речным. В 1896—1900 гг. в Уссурийский край было переселено еще 377 семей, но из-за отсутствия средств дальнейшее переселение было остановлено. Ситуация с недостатком средств усугублялась еще и тем, что правительству периодически приходилось поддерживать значительными суммами переселенцев, пострадавших от частых природных катаклизмов. Так, после наводнения 1897 года в Южно-Уссурийском крае правительство было вынуждено выделить дополнительные пособия казакам Забайкальского казачьего войска и Приморского конного дивизиона, оставшимся без средств к существованию<sup>5</sup>.

В итоге, за период с 1895 года по 1900 год на Дальний Восток было переселено 836 семей (почти полностью в Уссурийское казачье войско), что составило почти 5,5 тыс. чел. муж. пола или 8185 душ обоего пола<sup>6</sup>, что было намного больше первоначальных планов переселения — только 300 семей<sup>7</sup>. Переселение обеспечило охрану уссурийского участка Транссибирской железной дороги и усилило боевую мощь местного казачества. Все прибывшие поселились вдоль Усури и южнее озера Ханка.

После этого значительных казачьих переселений на Дальний Восток не проводилось. Это объяснялось невозможностью успешного продолжения переселений в условиях начавшейся в 1900 году русско-китайской войны и русско-японской войны 1904—1905 гг. К тому же сказывался недостаток средств из-за той дороговизны, с которой обходилось переселение каждой казачьей семьи, и из-за необходимости частой поддержки казаков в результате стихийных бедствий, неурожая и т. д.

Таким образом, в итоге проведения данных трех крупных переселений казаков позволило государству создать и укрепить на Дальнем Востоке три казачьих войска — Забайкальское, Амурское и Уссурийское, которые стали не только защитниками границы, но и основой военных формирований региона и колонизационной силой.

**К.И. ЗУБКОВ**  
*г. Екатеринбург (Россия)*

## **Роль геополитического фактора в генезисе моделей регионального управления на востоке России (XVI—XX вв.)**

Один только беглый взгляд на политическую карту мира невольно заставляет поразиться тому, насколько территория России (даже в усеченном после распада СССР виде) превосходит средний размер большинства государств мира. Особенно этот факт бросается в глаза при сопоставлении с совершенно недостаточной, если не сказать — редкой, численностью населения страны. На этот контраст в свое время обратил внимание М.К. Любавский, приписывая его историческим результатам беспрецедентной по масштабу и длительности колонизационной активности русского народа. Именно перманентно сохранявшаяся разреженность социальной среды, как следствие колоссального размаха колонизации, по мнению историка, служила ощутимым тормозом роста экономического благосостояния, развития общественной самодеятельности и гражданского порядка в российском обществе<sup>8</sup>. Помимо того, что непрерывно раздвигающиеся вширь границы государства налагали на казну (а в конечном счете на население) дополнительное бремя расходов на оборону, управление, содержание путей сообщения, основной ареной русской колонизации, в силу комплекса геополитических причин, стали территории суровые, экстремальные, по своим естественно-природным условиям относительно неблагоприятные для развитых форм хозяйственной деятельности, а потому отзывавшиеся на усилия человека

<sup>1</sup> Сергеев О.И. Организация казачьего переселения с Дона на Дальний Восток в конце XIX — начале XX в. // *Дальний Восток России: проблемы социально-политического и культурного развития во второй половине XIX—XX вв.* — Владивосток: Дальнаука, 2006. — С. 27.

<sup>2</sup> Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и Уссурийского казачьих войск. Вып. 1. Казачья колонизация Приамурского края. — С. 31—33.

<sup>3</sup> РГИА. Ф. 1152. Оп. 12. Д. 436. Л. 2—7.

<sup>4</sup> Материалы, относящиеся до земельного и экономического положения Амурского и Уссурийского казачьих войск. Вып. 1. Казачья колонизация Приамурского края. — С. 50.

<sup>5</sup> РГИА. Ф. 565. Оп. 14. Д. 109. Л. 229.

<sup>6</sup> Статистический обзор современного положения казачьих войск с приложением картограмм и многих диаграмм. — СПб.: Издание Вестника казачьих войск, 1903. — С. 13.

<sup>7</sup> РГИА. Ф. 1149. Оп. 11. Д. 41. Л. 7.

<sup>8</sup> Любавский М.К. Историческая география России в связи с колонизацией. СПб., 2000. С. 23, 25.

более низкой по сравнению с Европой нормой прибавочного продукта. По оценкам современных исследователей, по меньшей мере две трети территории нынешней России подвержены воздействию таких неблагоприятных природно-климатических факторов (длительная и холодная зима, обширная зона вечной мерзлоты, неустойчивый режим летних температур, засушливость степной зоны)<sup>1</sup>. По-видимому, далеко не случайно, что территории к востоку от Волги до русской колонизации не знали — за небольшими исключениями — ни земледельческой культуры, ни настоящего городского развития и в стадильном отношении представляли собой зону господства промыслового или номадического хозяйства<sup>2</sup>.

Развитие всякого типа хозяйства неизбежно заключает в себе компромисс между природосообразной инерцией, выражающей с разной степенью опосредствования господство сил природы над человеком, и заложенных в культуре средств его преодоления. Русская колонизация не составляла в этом отношении исключения. Характеризуя ее как основное содержание русской истории, В.О. Ключевский выделял две формы взаимодействия общества с природой: в первом случае человек «приспосабливается к окружающей его природе, к ее силам и способам действия», во втором — «их приспособляет к себе самому, к своим потребностям, от которых не может или не хочет отказаться»<sup>3</sup>. Закладывая в себе противоположность присваивающего и производящего типов хозяйства, особенно значимую на ранних стадиях человеческой истории, эти способы взаимодействия общества и природы своеобразно преломлялись в общем ходе русской колонизации. Устойчивость аграрного способа освоения территории как хозяйственно-культурного прототипа в этом случае контрастировала с неустойчивостью осваиваемой природной среды, легко истощаемой и выводимой из равновесия хозяйственными воздействиями и требовавшей для повышения своей отдачи экстраординарных материальных и трудовых затрат<sup>4</sup>. Вследствие этого, возникал особый род хозяйственных стимулов, которые сводились к тому, что общество могло с меньшими затратами достигать сопоставимой меры материального богатства скорее захватом или колонизацией нового пространства (как вместители разнообразных даровых и еще не растроченных ресурсов), чем прогрессом производства на старой территориальной базе. Такой перевес экстенсивных факторов хозяйствования в долговременном плане не только подпитывал энергию колонизационного процесса, но и порождал особый тип освоения новых территорий, при котором, как отмечал В.О. Ключевский, население «распространялось по равнине не постепенно путем нарождения, не расселяясь, а переселяясь, переносилось птичьими перелетами из края в край, покидая насиженные места и садясь на новые»<sup>5</sup>.

Отразив в себе труднопреодолимую силу географических условий производства, хозяйственный опыт русского крестьянина, который в главных чертах выработался еще при освоении в XIII—XV вв. великорусского исторического центра с его суровыми непроходимыми лесами, топями и болотами, трудными суглинистыми почвами, неустойчивыми погодными условиями, данный тип колонизации на просторах Русского Севера, Урала и Сибири должен был лишь еще прочнее закрепиться в виде устойчивого «кода» деятельности, детерминирующего и стереотипы хозяйственно-культурной практики, и многие черты национального характера. В этом свете не лишены оснований попытки увидеть в генотипе российской цивилизации мощное влияние комплекса традиций, связанных с передвижениями населения в его различных исторических формах (бегство на окраины, странничество, бродяжничество, переселения и т. п.), — традиций, которые, фактически превращали русских в особую разновидность перманентно «движущегося этноса», но не склоняющегося при этом к кочевому быту, а прочно несущего в своем сознании культуру оседлости<sup>6</sup>. Сколь бы парадоксальным ни казался этот этнологический конструкт, он находит определенные структурные соответствия с той исторической «завязкой», которая обусловила зарождение цивилизационной специфики России. Культурный генотип российской цивилизации неразрывно связан с Европой и, начиная не только с эпохи Петра Великого, но уже с XVI—XVII вв., получал от европейской цивилизации новые, еще более мощные прививки. Однако природно-географический базис России, или, употребляя термин «евразийцев», ее «месторазвитие», по большей части принадлежит не Европе: по В.О. Ключевскому, именно природа «положила на нее (Россию. — К. З.) особенности и влияния, которые всегда влекли ее к Азии или в нее влекли Азию». Отсюда не только притупленный России образ «переходной страны»<sup>7</sup>, но и переходный характер самой российской цивилизации — как цивилизации европейской в своих истоках и интенциях, но вынужденной действовать и развиваться главным

<sup>1</sup> См.: Горичева Л.Г. Естественные-природные условия развития национальных хозяйств России и Западной Европы // *Мировая экономика и международные отношения*. 2004. № 2. С. 51–52.

<sup>2</sup> Подробнее об этом см.: Зубков К.И. Аграрная колонизация Евразии как первая российская «модернизация» // *Аграрная сфера в контексте российских модернизаций XVIII—XX веков: макро- и микропроцессы*. Сб. статей. Оренбург, 2010. С. 99–104.

<sup>3</sup> Ключевский В.О. Сочинения: В 9 т. Т. I. Курс русской истории. Ч. I. М., 1987. С. 78–79.

<sup>4</sup> Там же. С. 88.

<sup>5</sup> Там же. С. 50.

<sup>6</sup> См.: Разумова И.А. «Миграционный текст» постсоветской России (на материале Северо-Западного региона) // *Этнодемографические процессы на Севере Евразии*. М.: Сыктывкар, 2007. Вып. 4. Ч. 2. С. 113–114.

<sup>7</sup> Ключевский В.О. Указ. соч. — С. 64, 65.

образом в гораздо более неблагоприятной — условно говоря, «азиатской» — природно-географической среде. Иначе говоря, ту органичность развития и ту сумму его возможностей, которые Европа извлекала из выгод своего географического положения — разнообразия форм поверхности и ресурсов, ровного и смягчаемого морем климата, обилия морских побережий и т. п., Россия могла восполнять главным образом за счет поглощения и освоения менее гостеприимных и гораздо более протяженных пространств. Кроме того, ориентация на простейшие формы присвоения природной ренты становилась тем более сильным мотивом хозяйственной экспансии, чем более России приходилось посредством нее компенсировать повышенные затраты на поддержание коммуникаций и обороны и на первичное освоение пространств, в минимальной степени затронутых предшествующими культурными накоплениями.

Указанные особенности колониационного процесса приводили к тому, что практически нигде на восточных окраинах он не приобретал характера поступательного, сплошного расширения заселенного и освоенного ареала. Движение «перелетами», с громадными пространственными разрывами между участками активной колонизации, неизбежно формировало сложный, многоукладный, по существу, конгломератный состав государственной территории России. Инерция «островного» характера аграрной колонизации, коренящаяся в условиях осваиваемой географической среды, нелегко преодолевалась даже с прогрессом технико-технологических средств, что обуславливало ее чрезвычайную растянутость по времени. Ее завершающим фазисом по праву можно считать освоение целины в южных районах Урала, Сибири и в Северном Казахстане в 1950-х гг. Эта инерция не только не ослабевала со временем, но даже многократно усиливалась практикой промыслового, а затем и индустриального освоения восточных регионов России — тех хозяйственных форм, в инициировании которых на востоке страны явственно обозначили себя стратегические приоритеты абсолютистского государства. Пушная «лихорадка», развернувшаяся в XVII веке и медленно угасавшая к началу XIX, может служить хрестоматийным примером колониационного движения, в своей стремительности за полвека приведшего русских к берегам Тихого океана, но при этом лишь поверхностно сказавшегося на экономической трансформации зауральских территорий. Больше того, использование правительством для фискальной апроприации ресурсов пушнины традиционного для Сибири института данничества — ясака — выводило на первые позиции задачи политического приобретения и закрепления новых территорий, а не экономического преобразования уже присоединенных земель. Это сыграло благотворно-консервирующую роль с точки зрения сохранения традиционного охотничье-промыслового уклада аборигенного населения и его земельных прав, но фактически оставляло большой массив территорий вне воздействия передовых хозяйственных практик<sup>1</sup>. В ряде случаев заинтересованность власти в выполнении коренным населением военно-служебных функций (как, например, в Башкирии) также способствовала сохранению последним вотчинных прав на землю и собственного внутриобщинного управления<sup>2</sup>.

Следующая «волна» ресурсного освоения восточных регионов, стимулированная острой потребностью государства в металлах, привела в начале XVIII века к зарождению трех разделенных огромными расстояниями «очагов» развития горно-металлургической промышленности (на Урале, Алтае и в Забайкалье), длительное время сохранявших свой замкнутый характер. Локализация этих центров в немногих районах сосредоточения необходимых факторов производства (богатые и доступные для разработки запасы руды, древесного топлива, водной энергии) могла, таким образом, состояться только при опоре на громадные территориальные резервы, которыми к этому времени располагало государство.

Эти пространственные закономерности хозяйственного развития отчетливо прослеживались даже в XX веке, когда индустриальное освоение Сибири также явственно несло в себе черты последовательно сменявших друг друга «волн» ресурсного освоения, вовлекавших в развитие те или иные участки ее громадной и уникальной по природному потенциалу территории в зависимости от изменяющихся потребностей государства: в 1930-е — 1940-е гг. это были угледобыча и черная металлургия (юго-восточные части Западной Сибири); с середины 1950-х гг. — электроэнергетика и связанная с ней цветная металлургия (Восточная Сибирь); с 1960-х гг. — добыча нефти и природного газа (Северо-Западная Сибирь). В том, что развитие Северо-Западной Сибири, присоединенной к России еще в XV—XVI вв., вплоть до 60-х гг. XX века не выходило за пределы маргинальных видов экономической деятельности, генетически восходящих к промысловому хозяйству коренного населения, можно ясно видеть громадную временную дистанцию, которая отделяет присоединение территории от ее полномасштабного экономического использования.

Все эти наблюдения позволяют признать справедливость исторической оценки, высказанной П.Н. Милоковым в 1927 году: «Политическое развитие и процесс расширения русского государства постоян-

<sup>1</sup> Зубков К.И. Прошлое и будущее Сибири: регулятивная роль геополитического фактора // ЭКО. 2012. № 1. С. 76.

<sup>2</sup> Зубков К.И., Побережников И.В. Реформы административно-территориального устройства восточных регионов России (XVIII—XX вв.). Екатеринбург, 2003. С. 18.

но опережали экономическое развитие России»<sup>1</sup>. Из констатации этого факта историк делал вывод о том, что организация государственного управления России, не имея возможности в должной мере опереться на силы экономического сцепления и рост народного благосостояния, неизбежно приобретала черты навязанной «сверху» системы бюрократической сверхэксплуатации бедного, по общей мерке, населения, и при всем этом последняя, будучи вариантом упрощенного централизованного управления, во многих случаях не «прорастала» до глубин местной жизни — особенно населения сельского, которое всегда оставалось «в известном смысле анархическим по природе»<sup>2</sup>, не говоря уже об окраинах, где группировались самовольное казачество, «нерегулярное» инородческое население и куда постоянно совершался отток иной «удалой вольницы»<sup>3</sup>.

Действительно, обладая всеми атрибутами территориально могущественного и потому потенциально богатого государства, Россия, тем не менее, отличалась бедностью предпосылок, при которых этот территориальный ресурс мог быть преобразован в источник экономической силы. Это было связано не только с тем, что при громадной разбросанности населения и несовершенных путях сообщения, как отмечал М.К. Любавский, из экономики на цели обороны, транспорта и управления отвлекались диспропорционально большие средства, резко тормозились экономический обмен и рост специализации производства<sup>4</sup>. Представления о благотворности централизованного управления в условиях разделенной чудовищными расстояниями, «разбегающейся» страны, сохранявшей громадное разнообразие природных ландшафтов, этносов, религий и хозяйственных укладов, проистекали не только из скудости средств, но были общим местом в политической теории и в XVIII веке, и в значительной мере в XIX веке, опираясь на внешне безупречную систему аргументов. «Российская империя есть столь обширна, что кроме самодержавного государя всякая другая форма правления вредна ей, ибо все прочее медлительнее в исполнениях и многое множество страстей разных в себе имеет, которая все к раздроблению власти и силы влекут...», — наставляла Екатерина II вновь назначенного генерал-прокурора кн. Вяземского<sup>5</sup>. В этом свете приводимые А. де Кюстином слова Николая I о том, что без крайней простоты административной машины «при огромных расстояниях, являющихся серьезным препятствием для всего», невозможно удержать единство управления империей<sup>6</sup>, воспринимаются больше, чем просто исторический анекдот.

Вместе с тем, очевидно, что такая геополитически мотивированная система управления позволяла государству осуществлять лишь стратегический контроль над освоением и заселением отдаленных территорий, всецело подчиняя эти процессы почти исключительно реализации государственных же приоритетов. На ранних этапах колонизации восточных регионов государство в такой же степени было ответственно за широкий и активный приступ к освоению их ресурсов, в какой и за искусственное насаждение здесь колониальных регламентов, одинаково препятствующих и спонтанному «переливу» экономической активности из центра страны, и ее свободной самоорганизации на местах. Эти ограничения выражались в запретах на частный оборот наиболее ценных ресурсов, различных видах государственной монополии, что должно было препятствовать отвлечению и ресурсов, и хозяйственной инициативы населения от обслуживания стратегических экономических интересов государства. (Отступления от этой системы в пользу раскрепощения местной инициативы — вроде Оренбургской привилегии 1734 года — носили характер исключений, обусловленных опять же стратегическими функциями ряда пограничных территорий)<sup>7</sup>.

Инерция этой политики оказалась очень длительной, определяя развитие восточных регионов и в XVIII — первой половине XIX века, и в преобразованном виде, но с не меньшей остротой, в период второй — капиталистической — модернизации России. В пореформенную эпоху эта проблема приобретала характер платежного дисбаланса в отношениях центра и периферии, которая вынуждена была наращивать вывоз сырьевых ресурсов для оплаты ввоза готовых изделий и потребительских товаров. Формирующаяся таким образом система неэквивалентного обмена увековечивала экономическое отставание окраин; это проявлялось, в частности, в том парадоксальном факте, что на фоне ресурсного изобилия положение окраин, как правило, характеризовал недостаток занятости. В Сибири пореформенной эпохи эту проблему со всей остротой поставили «областники», которые видели в искусственном торможении развития там обрабатывающей промышленности и в консервации неэквивалентного обмена через «мануфактурную эксплуатацию» результат комбинированной политики, которую сообща проводили в жизнь уже не только русское правительство, но и

<sup>1</sup> Милюков П.Н. Почему русская революция была неизбежна? // Русская идея: В 2 т. Т. 2. М., 1994. С. 122.

<sup>2</sup> Там же.

<sup>3</sup> Любавский М.К. Указ. соч. С. 25.

<sup>4</sup> Там же. С. 24.

<sup>5</sup> Цит. по: Бугров К.Д. Идеология и политический лексикон реформаторских проектов Н.И. Панина (60—80-е гг. XVIII в.): Дис. ... канд. истор. наук. Екатеринбург, 2010. С. 152.

<sup>6</sup> Маркиз де-Кюстин. Николаевская Россия. М., 1990. С. 95.

<sup>7</sup> Зубков К.И., Побережников И.В. Указ. соч. С. 25—26.

капитал Европейской России<sup>1</sup>.

Эти черты в развитии восточных регионов России прочно держались даже в начале XX века. Как отмечал один из дореволюционных наблюдателей, описывая ситуацию в колонизируемом Приамурье, «несмотря на многие попытки устроиться в крае, мы не видим постоянной системы и планомерности в окраинной политике»; если здесь и бывали периоды «полного оживления, широких оборотов и безумной наживы», то «это всегда связано было с правительственными мероприятиями — казенными постройками и приливом многомиллионных капиталов казны». В такие периоды «все внимание купечества и предпринимателей сосредоточивалось на злобе дня, и никто не старался разобраться в местных экономических условиях и дать себе ясный отчет в том, что нужно с точки зрения населения и его благосостояния». В крае происходили рост населения и развитие земледелия, но все это далеко не соответствовало «потребностям края, на который смотрели с чисто земледельческой точки зрения, не создавая местной промышленности»<sup>2</sup>.

Таким образом, потенциальное богатство возможностей развития на востоке страны резко ограничивалось очаговым характером освоения, селективностью разработки ресурсов, востребованных в тот или иной период государством. Поскольку вся «сигнальная система», лежащая в основе централизованного управления освоением восточных регионов, подчинялась, прежде всего, удовлетворению стратегических потребностей государства, региональные экономики здесь характеризовались однобокостью своей отраслевой структуры и никогда не достигали той полноты хозяйственного цикла, которая могла бы обеспечивать их более или менее равномерный экономический, демографический и культурный прогресс.

Другой существенный порок централизованного управления состоял в том, что насаждаемые им формы безраздельной единоличной власти на окраинах при затрудненности эффективного административного контроля центра неизбежно вырождались в грубый произвол «отдельных сильных лиц и частных обществ»<sup>3</sup>. Примером этого стали вскрытые сибирским генерал-губернатором М.М. Сперанским масштабные злоупотребления властью и финансовые хищения местных администраторов всех рангов, которые стали поводом для проведения в 1822 году кардинальной реформы управления Сибирью, которая была, по существу, первым шагом к устранению наиболее одиозных черт единоличной власти сибирского начальства, созданию более дифференцированной системы регионального управления, приспособленной к местным потребностям<sup>4</sup>.

Специфика колониационных процессов на востоке России и сопровождавших их стратегий управления окраинами формировала как долговременные тренды развития, так и магистральную логику реформирования систем регионального управления в направлении более сбалансированного учета интересов центра и периферии.

**Э.Ш. Идрисов**  
г. Астрахань (Россия)

## **Проблемные аспекты управления полукочевыми и кочевыми народами XVIII–XIX вв. (на примере Астраханского края)**

Формирование Российского государства исторически носило многонациональный характер. Специфика этого процесса определялась тем, что входившие в состав государства народы имели разный уровень общественного развития, связанного с условиями жизни. Особый путь социального становления имели кочевые народы, управление которыми было наиболее затрудненным и проблематичным.

В составе демографической структуры Астраханского края полукочевые и кочевые народы имели большое численное представительство, среди которых были ногайцы, калмыки, туркмены и казахи. Представители астраханских властей в разные периоды старались учитывать специфику кочевых социумов, при способлять для них свои управленческие практики.

Если говорить о генеральной линии политики, которая рекомендовалась с центра по отношению кномадным коллективам начиная с XVIII века, то она была направлена на постепенное их обоседление. Не последнюю роль играло постепенное включение местной элиты в общеимперское пространство. Как отмечает Ж.Б. Кундакбаева, в этом ключе: «Конечной целью России была инкорпорация периферийной элиты в состав общеимперской элиты»<sup>5</sup>. А как следует из этого, это окончательно невозможно с сохранением кочевания.

<sup>1</sup> Алексеев В.В., Алексеева Е.В., Зубков К.И., Побережников И.В. Азиатская Россия в геополитической и цивилизационной динамике. XVI–XX вв. М., 2004. С. 432.

<sup>2</sup> Слюнин Н.В. Современное положение нашего Дальнего Востока. СПб., 1908. С. 142.

<sup>3</sup> Любавский М.К. Указ. соч. С. 25.

<sup>4</sup> Зубков К.И., Побережников И.В. Указ. соч. С. 41–42.

<sup>5</sup> Кундакбаева Ж.Б. «Знаком милости Е.И.В. ...» Россия и народы Северного Прикаспия в XVIII веке. — М., 2005. — С. 35.